

# КАК ЧИТАТЬ МАРГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ?

**Какую литературу мы называем маргинальной и почему? Подходит ли для работы с ней тот инструментарий, который был выработан для текстов, условно входящих в канон? Возможно ли существование литературы «без полей» — без «ядра» и «периферии»? Об этом и многом другом беседовали участники семинара «Маргинальные тексты» на встрече, состоявшейся 20 марта 2021 года. Для обсуждения в этот день были выбраны работы «О понятии истории» В. Беньямина и «Поле литературы» П. Бурдье, а также «Гакраб (Битва): Поэма о шахматной игре» Я. Эйхенбаума, так что семинар получился одновременно и теоретический, и практический.**

**В дискуссии приняли участие студенты магистерской программы «Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Артём Бабушкин, Александра Денисова, Мелания Калинина, Олег Ларионов, Степан Попов, студентка магистерской программы «Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» НИУ ВШЭ в Москве Светлана Демидова, а также преподаватели НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Виктор Михайлович Димитриев, Илья Александрович Калинин и Андрей Александрович Костин.**

**Степан Попов:** Я позволю себе начать с тезиса, основанного на чтении наших теоретических текстов. О чем нам говорит Бурдье? Он говорит о том, что поле литературы имеет некие собственные правила, предлагает актерам, существующим внутри этого поля, уже сформированные (и не ими) сценарии самореализации — как более, так и менее успешные, и все, что остается актеру в этой перспективе — это в соответствии с собственным социальным опытом, в соответствии с собственным габитусом избрать для себя некую готовую линию поведения. Безусловно, к такой постановке вопроса мы можем предъявить много претензий. В частности, мы можем возразить Бурдье, что, вообще-то, как конвенциями социального поведения, так и правилами поведения в литературном поле актер может манипулировать, и мы знаем много примеров такого рода манипуляций, причем довольно успешных, не буду приводить здесь каких-то дополнительных примеров. Но я бы попробовал сформулировать к Бурдье другую, может быть, даже не озвученную ранее претензию, именно исходя из своего интереса к маргинальной литературе.

Из своего опыта чтения маргинальных текстов я понял, что каждый раз по-настоящему маргинальный текст, по-настоящему маргинальный автор существует вне какого-либо поля или субполя, и поэтому у маргинала нет какого-то примера, в соответствии с которым он мог бы выстраивать некую стратегию поведения. Часто нет у маргинала в перспективе зрения и общего поля литературы — он существует вне его. Маргинал не манипулирует правилами, существующими в поле литературы, он не выбирает себе еще никем не занятые амплуа, он не действует в горизонте возможностей, которые ему очерчивает поле литературы. **Фактически маргинал изобретает невозможное, конструирует себе некое собственное пространство, на которое у поля литературы просто не хватает воображения.** И следовательно, здесь встает вопрос о том, что же позволяет маргиналу это делать.

Беньямин, кажется, немного проясняет, что это могут быть за свойства. Маргинал по Беньямину — это угнетенный, слабый субъект, неопределяемый, игнорируемый традиционными нарративами сильных — как историческими, так социальными или политическими — это, в целом, понятно. Другое дело — и в этом, на мой взгляд, главная ценность Беньямина — это то, что он фактически показывает, что нам делать с маргиналами: необходимо писать их историю. В частности, эта история важна и в эпистемологическом плане: создавая историю маргиналов, мы поймем, что маргиналы создавали нечто такое, что в какой-то момент оказалось ненужным или нереализованным. Так

мы увидим, что могло бы случиться в прошлом, но не случилось, то есть мы с помощью выстраивания истории маргиналов как бы увидим мир нереализованных возможностей, неслучившееся прошлое. И из этого можем уже делать самые разные выводы. И я думаю, текст Эйхенбаума, который я подобрал, дает нам именно такие возможности. Я бы не останавливался только на нем и использовал бы его только как подспорье.

**Артём Бабушкин:** На самом деле, у меня возражение по поводу концепции Бурдые. Он же не пишет о том, что акторы могут только занимать позиции, которые уже существуют. Он говорит в том числе и о появлении новых позиций, которые как бы возможны грамматически. Как в грамматике есть какой-то горизонт возможностей языка, так и в литературе есть свой горизонт возможного — и в том числе относительно того, что называют манифестацией. И каждый новый автор, который входит в это поле литературы, все равно работает с какими-то конвенциями, в том числе манипулируя ими, и изобретает какую-то новую позицию. Поэтому мне кажется, что эту предпосылку можно обговорить более подробно.

**Олег Ларионов:** Если я правильно понимаю, для Бурдые очень важен пафос того, что все производится коллективным, совместным действием разных акторов. То есть, грубо говоря, в этой схеме получается, что не будет маргинальных авторов, маргинальных текстов, пока не появятся какие-то люди (например, наш семинар), которые прочтут такие тексты и назначат их маргинальными — введут их, таким образом, в общую конструкцию литературного поля, поместив их на маргинальные позиции. В этой перспективе маргиналы и маргинальность оказываются не какими-то ускользающими от нашего описания сущностями, а скорее производными от нашей деятельности. Мне кажется, здесь есть над чем подумать.

**Светлана Демидова:** Я, наверно, отчасти продолжу эту мысль. Когда я читала примечания и предисловия к «Шахматной поэме», мне показалось интересным, что мы выбрали именно ее, потому что она попала в наше поле зрения постфактум биографического процесса, в результате распространения некоего биографического ореола — мы читаем Эйхенбаума, у него был такой дедушка, и почему бы нам заодно не опубликовать и его текст. Степан сказал вначале о том, что маргиналы существуют вне какого-то поля и создают собственное поле — мне кажется, что это происходит более сложно. Иногда возникают случаи, когда эти тексты находятся в ореоле литературного быта вторичной литературы, каких-то документов, которые мы ассоциируем с архивными по отношению с тем, что мы считаем находящимся в центре канона.

**Андрей Костин:** Мне кажется, что это отличный разговор — очень хорошо подобраны тексты, но все-таки я бы хотел немного возразить Степану. У меня постоянный вопрос к Бурдые о том, насколько то, о чем он пишет, описывает ситуацию с хронологически уходящим в историю набором текстов. Кажется, что Бурдые описывает синхронную борьбу. Это существенный момент; архивные тексты, по всей видимости, работают для читающих их через определенное время как-то иначе.

Помимо этого у меня есть вопрос к тексту, который мы читаем: насколько мы хорошо представляем себе поле и контекст, в котором работает Яков Эйхенбаум? В начале Борис Эйхенбаум рассказывает, что он возвращается к отцу и там начинает читать эту самую ново-еврейскую литературу 1810–1820-х годов, и она оказывается важным для него текстуальным опытом. Я совсем в этом не специалист, и было бы интересно, если бы с нами был, например, Эдуард Вайсбанд с нашей кафедры — человек, в общем-то представляющий себе эту литературу. Но по тому, с чем мне приходилось сталкиваться — у пишущих в России по-еврейски евреев в начале XIX века действительно есть некоторая литература, которая во многом заточена и смотрит на русскоязычную литературу как на образец, как раз где-то к 30–40-м годам появляются переводы, например, из Державина или Хераскова на еврейский язык. Когда Рабинович все это переводит языком условного «Демона», «Демон» уже написан, а когда Яков Эйхенбаум пишет — еще нет, и это не случайно, это то, в чем они существуют и на что ориентируются. И если мы применяем Бурдые к этой ситуации, в которой работает Яков Эйхенбаум — мы, кажется, вполне можем описать это поле: место, которое занимает в нем светская еврейская литература, ориентированная на русскую практику, довольно специальным образом располагается среди разных еврейских литератур — и на идиш, и на иврите, и это вполне можно описывать. Другое дело, что, конечно, когда этот текст попадает к нам как к читателям в совсем другое время с совсем другим языком и из других контекстов, он занимает, видимо, какое-то совсем другое место. И тут вопрос — насколько схема Бурдые это предполагает и вообще насколько он заинтересован в описании этих позиций, насколько вообще Бурдые задается вопросом о маргинальности. Может быть, с этой стороны можно было бы подойти к этой проблеме.

**Виктор Димитриев:** Эта тема — одна из самых для меня интересных. Я бы хотел предложить свою интерпретацию маргинальной литературы в том ключе, в котором говорил о ней в самом начале Степан, однако мне хотелось бы говорить о маргинальности как о некоторой стратегии. Вы описали маргинальность

как что-то, что (в большей степени в перспективе Беньямина) оказывается вытесненным большими нарративами и тем, что невозможно описать — и у меня сразу появляется вопрос, почему сама эта практика, сама эта постановка вопроса о маргинальности не включена в маргинальность как стратегию.

Есть книга, посвященная так называемому «незамеченному поколению» русской эмиграции, ее написала Ирина Каспэ, она называется «Искусство отсутствовать». Речь в ней идет о сообществе эмигрантов первой волны, которое сознательно описывало себя на языке «невозможности описать», которое сознательно описывало свой неуспех как успех, разрабатывало язык, посредством которого эта маргинальность была бы в каком-то смысле не схватываема исследовательским языком. Другими словами, это такая уклончивая практика постепенного включения всех форм различий внутри какого-то маргинального поля в свой собственный язык, и на этом языке все эти структуры различия становятся неразличимы. Очень любопытно, как это функционирует, как уже в 30-е годы эти литераторы пытаются сформировать представление о себе как о маргинальной группе скорее на языке неопишуемого сообщества Бланшо.

С одной стороны, у меня возник вопрос: почему этот тезис о неопишуемости маргинального опыта, о том, что его невозможно вписать в какой-либо исследовательский нарратив, — не является примером стратегического манипулирования в литературном поле? С другой стороны, может быть, здесь имело бы смысл включить еще одну трактовку сообщества, неопишуемого сообщества маргиналов, выраженную в текстах Батая и Бланшо?

**Илья Калинин:** Да, то, что я хотел сказать с самого начала, хорошо продолжает то, что во многом артикулировал сейчас Виктор. Мне кажется, что эта тема так или иначе у нас возникала и прежде на семинарах. Есть смысл различать два типа маргинальности. Тексты Бурдье и Беньямина особенно удачно подобраны, потому что позволяют нам этот водораздел провести.

Приложив к этому явлению социологическую оптику Бурдье, мы можем увидеть, что он оперирует синхронным срезом. Однако это не значит, что данная оптика позволяет говорить исключительно о современности. Мы можем прикладывать его модель к любой эпохе, по отношению к которой возможна реконструкция и картографирование пространства напряжения между различными агентными позициями, борющимися за доминирование внутри того, что Бурдье определяет как *поле*. Без этой предварительной работы мы не можем, пребывая в каком-то безвоздушном пространстве, выстроить социологическую аналитику по отношению к любому тексту, принадле-

жащему той или иной эпохе. С помощью своей концепции поля Бурдье пытается разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие, по-разному воспроизводившееся в социологии: противоречие между акцентом на структуру и акцентом на социальное действие. Структурный функционализм исходит из того, что жизнь общества подчинена действию объективно существующих структур, норм, правил и законов, неким предзаданным установкам — это та грамматика, о которой уже говорил Артем. Социальный конструктивизм исходит из того, что индивиды своими действиями, интерпретациями, коммуникативными актами сами производят социальную реальность, *ad hoc* разыгрывая свои роли. Понятие поля, которое предлагает Бурдье, синтезирует две эти перспективы: структуры и действия. Мы совершаем то или иное действие, но внутри определенным образом организованного поля. При этом наше действие приводит к тому, что это поле реструктурируется. Структура одновременно и не уничтожается, и становится пластичной, приобретая внутреннюю подвижность и динамизм.

Возвращаясь к тому, что сказал Виктор: безусловно, мы можем говорить не просто о маргинальности или внешней маргинализации (синхронно социальной или ставшей результатом исторических сдвигов), но и о сознательной *автомаргинализации*. Выстраивание собственной маргинальности может быть рассмотрено, по крайней мере, по Бурдье, как совершенно сознательная стратегия достижения успеха, как стратегия приобретения и накопления символического капитала. Согласно логике Бурдье, художник может работать, опираясь на принципы эстетической автономии, настаивая на собственной литературной маргинальности и достигая успеха именно в качестве «непризнанного», а может, наоборот, обращаться к механизмам гетерономии (переносящими на поле литературы принципы экономического или политического полей), предъявляя себя как коммерческого писателя или как писателя, облеченного тем или иным политическим или административным статусом. Про Владимира Сорокина мы уже вспоминали, а можем вспомнить про Эдуарда Лимонова, чья стратегия гетерономии тоже может быть описана через феномен маргинальности. Для Лимонова и литературная, и биографическая, и политическая маргинальность всегда были важным инструментом борьбы и аккумуляции капиталов разного рода. В любом случае, здесь речь идет о маргинальности как о сознательно выбранной, более того, — активной, наступательной позиции. Таким образом, мы можем говорить о маргинальности как о стратегии, как о выборе.

Беньяминовская перспектива взгляда на маргинальность выглядит совершенно иначе. В его случае маргинальность — уже не выбор, а судьба, связанная с изначальной депривированностью субъекта письма по отношению к различного рода измерениям господства / подчинения: социального, классового, политического, экономического, гендерного, расового. Это совершенно иной тип (точнее — совершенно иная логика) маргинальности, за которым стоят другие отношения и, соответственно, другой способ описания. Тот долг, который с точки зрения Беньямина должен испытывать историк, стоящий на позициях диалектического материализма, — это долг перед угнетенными, теми, кто потерпел поражение, в результате которого их голоса оказались стерты с носителей исторической памяти. У беньяминовского историка нет долга перед теми самомаргинализирующимися сообществами, которые создают себя через дискурсивное ускользание, символическую неопишуемость, через попытку выскользнуть за пределы тех или иных нормативных пространств: рынка, товарно-денежных отношений, политической власти, доминантного языка описания. Возможно, есть смысл попытаться более четко провести именно эту границу между маргинальностью как выбором и маргинальностью как судьбой, маргинальностью как стратегией и маргинальностью как эффектом депривации и угнетения по одному из любых возможных признаков.

**Степан Попов:** Мне показалось действительно важным разделение маргинальности на несколько видов, которое Вы воспроизвели. В связи с чем я вспомнил, что в приложении к трактату Беньямина есть 2 абзаца, абзац А и абзац Б. Меня заинтересовал абзац Б. В нем он пишет, что евреям запрещено пытаться узнать будущее, потому что оно им не принадлежит, они сами (не?) определяют собственное будущее. Оно им дается в некой готовой форме. Любопытно, что Беньямин дает этой, в общем-то, исторической слабости такую положительную перспективу: поскольку евреи не могут знать своего прошлого, они имеют хорошее воображение, они умеют удивляться и, соответственно, удивлять.

И я бы вернулся к Бурдые. Для него важна вот эта модель грамматики относительно литературного поля, и он довольно часто подчеркивает то, что да, можно сплестать и менять позиции, можно, соответственно, с помощью манифестации каким-то образом реструктурировать поле. Однако, по-моему, он настаивает на том, что в поле уже заложен некий предел возможностей, за границы которого субъект не может выйти, и даже если он занимает некую новую позицию, ее существование уже предопределено полем литературы, а через это и полем власти. Мне кажется, что маргиналы, условно,



второго типа, поскольку они не могут знать собственного будущего, поскольку они не знают правил игры в поле, они умеют удивляться и умеют удивлять.

*[Пропуск при расшифровке семинара. — Прим. редактора.]*

**Мелания Калинина:** Получается, что маргинальность — это что-то имманентное по отношению к тексту? Даже разделение на маргинальности на две категории: маргинальность сознательную и маргинальность, предначертанную судьбой, — не отменяет того, что это нечто имманентное. Мне подумалось о том, что, когда мы начинали этот семинар, посыл был в том, что мы читаем тексты, которые кажутся маргинальными нам, и наша личность, на самом деле, играла не последнюю роль в этом всем. Фактически, мы делали что-то обратное тому, о чем пишут, например, умные историки: мы брали тексты, фактически вырывая их из поля, из их синхронного окружения, и читали.

**Степан Попов:** Мелания задала очень интересную перспективу, а именно — обратить наш разговор о маргинальности на наш опыт чтения маргинальных текстов, на наш выбор маргинальных текстов.

**Андрей Костин:** Есть вопрос со значимостью категории борьбы, соперничества, вопрос о том, насколько это работающие категории, когда мы работаем с тем, что сейчас описываем как маргинальные тексты. Чем интересен Беньямин, так это тем, что когда мы включаем теологию и вопрос о будущем счастье, то, вообще говоря, мы знаем, что это мир, которого мы хотим достичь, это мир, где лев возляжет с агнцем, мир, в котором противоречия и борьба будут отменены. Мы хотим его достичь. Но возможно ли это достижение? Насколько оно нормально достижимо в том числе и для занятия историко-литературным чтением текстов, насколько нормально само представление себе этих самых позиций? Можем ли мы мыслить категорию этого самого литературного поля вне вопроса о том, что разные его позиции не находятся в статике, а постоянно взаимодействуют друг с другом, предполагая более или менее центральные маргинальные позиции вытеснения, забвения и так далее? Это тот момент, в котором, удивительно для меня, несмотря на всю эту мистическо-теологическую подоплеку, Беньямин соприкасается с Бурдые, и категория борьбы становится важной. Возможно ли достижение такого состояния истории, в том числе и для Беньямина, в котором произойдет это самое возлежание льва с агнцем, или нет?



Предполагаем ли мы, что, отбирая и читая маргинальные тексты, а не тексты канонические, центральные, мы переворачиваем что-то или создаем вот этот райский мир сосуществования текстов?

**Степан Попов:** Мне кажется, что одного чтения и обращения внимания на маргинальный текст, наверно, все-таки недостаточно. На самом деле, если думать о какой-то перформативной силе, то в этом смысле канонические тексты, конечно, живы, и они смогли реализовать собственные проекты, тогда как маргинальные тексты — это, действительно, мертвые и неосуществленные тексты. Мне кажется, что в полной мере воскресить их, не смотря на все наши попытки, все-таки невозможно.

*[Пропуск при расшифровке семинара. — Прим. редактора.]*

**Андрей Костин:** Проблема с тем, как мы работаем с этими текстами, и насколько для нас здесь рабочими оказываются Беньямин и Бурдые. Упомянувшиеся [эта часть разговора была выпущена при расшифровке семинара — прим. редактора] опоязовцы, формалисты — это люди, которые занимаются специальным вопросом о том, как работают тексты из архива в современности, как они туда попадают, пройдя через сито какого-то времени, в виде текста, лишённого авторской привязки в современности, и как они с нами работают. Вот то, что занимает Тынянова и Шкловского.

Мы должны решить вопрос, который у нас здесь с вами встает: важна ли для нас маргинальная позиция, важно ли восстановление контекста? Это тот вопрос, который я задавал к Бурдые вначале: да, мы можем реконструировать позицию поля, в котором создается изначальный текст. Но это никак не будет объяснять взаимодействие этого текста с нами и с тем, как мы его читаем. Он оказывается сейчас в какой-то абсолютно другой структуре. Мы можем, идя за Тыняновым, реконструировать истории смены этих полей. Это само по себе увлекательное занятие. Для Тынянова этой маргинальности, которая существует внутри текста, в принципе нет. Это принципиальная позиция для Тынянова: маргинальность есть только функция поля, а не что-то существующее внутри самого текста. То, во что мы здесь упираемся, это то, насколько нам нужна или не нужна история литературы, и аппарат реконструкции контекста, и реконструкция прошлых состояний поля.

**Илья Калинин:** Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, как раз восстановление контекста и есть та работа, которую Беньямин призывает совершать по отношению к традиции угнетенных, о которой он пишет, потому что именно их голоса не звучат

из дошедших до нас текстов. Не звучат в том числе потому, что мы не знаем того контекста, внутри которого эти голоса когда-то возникли. Светлана сказала, что, когда мы смотрим на маргинальность с точки зрения депривированности, это удаляет нас от беньяминовского понимания. Могли бы Вы еще раз тезисно озвучить этот аргумент?

**Светлана Демидова:** Я имела ввиду, что сам проект Беньямина, кажется, предполагает то, что мы знаем, какие тексты и какие голоса, что за группу мы хотим возратить и сделать «говорящей». Поэтому это проект, не идентичный тому, что мы сейчас, например, разбираем какой-то индивидуальный текст и осознаем его как маргинальный.

**Илья Калинин:** Я с Вами согласен. Мы, когда говорили о Беньямине с Виктором, скорее заходили со стороны мистической, кабалистической, иудаистской линии в интеллектуальной генеалогии Беньямина [эта часть разговора была выпущена при расшифровке семинара — прим. редактора]. Но помимо нее мы не должны забывать и о другой линии, связанной с его фигурой. В биографическом плане эти два беньяминовских крыла опираются на его дружбу с Гершомом Шолемом и Бертольдом Брехтом. В этой второй перспективе слова Беньямина об историческом материализме не стоит понимать метафорически. Это тот самый исторический материализм, о котором говорит Маркс. Поэтому, когда мы сталкиваемся с понятием «традиция угнетенных», которая требует реконструкции, — на языке мистики Беньямин обозначает ее как «воскрешение» — это не метафора. И необходимость обращения к этой традиции угнетенных не нужно понимать исключительно в каком-то таком герменевтически-талмудическом ключе, речь идет о вполне конкретном социокультурном, политэкономическом, расовом, гендерном угнетении, объекты которого взывают к тому, чтобы быть услышанными сквозь канонизированные дискурсивные напластования, оставленные победителями. Иными словами, речь в данном случае идет не только о реконструкции и интерпретации, но и о восстановлении когда-то отнятой субъектности, — о возвращении исторической справедливости.

Вопрос в том, как эта маргинальность связана с текстом. Понятно, что она точно связана с фигурами автора, повествователя, лирического героя, с субъектностью, которая через текст реализуется. Любопытно, что если все-таки искать какие-то точки пересечения между Бурдые и Беньямином, то, как уже было сказано, долг историка перед угнетенным субъектом / маргинальным текстом может состоять в воскрешении контекста. Потому что канонические тексты являются таковыми именно потому, что их контекст оказался

социально признанным и уцелел: в этом смысле победители пишут не только текст, но и контекст; они задают и фигуру, и фон. Поэтому историку проще и соблазнительней работать с мейнстримной линией развития литературы (под мейнстримом я понимаю здесь в том числе и релевантную для него периферию, к которой любили обращаться опоязовцы). А вот тексты угнетенных — даже в том случае, когда они уцелели, — вписаны в контекст, еще более стертый, чем они сами. Это стирание обусловлено тем, что условия производства этих текстов погружены в пространство социальной депривации, политического угнетения, символической репрессии. Именно поэтому они не включены в работу институтов и практик культурного хранения, монополизированную культурой победителей. В этом случае долг беньяминовского историка (оказывающегося одновременно и революционером) состоит в том, чтобы извлечь это позабытое наследие из небытия, вернуть проигравшим их место в истории.

Кстати, тут можно вспомнить еще одну традицию интереса к этому вопросу. Это то, что Джеймс Скотт<sup>1</sup> обозначает как «скрытый транскрипт», — понятие, которое можно приложить, например, к колониальной ситуации. Скажем, голос Калибана в «Буре» Шекспира подчиняется такому скрытому транскрипту, неизбежному для социального действия угнетенных. Любому читателю понятно, что в «Буре» главные герои — это Просперо, Миранда, младший брат Просперо, узурпировавший его трон, а также — Неаполитанский король и его сын. Но там есть еще одновременно злое и смешное чудовище Калибан. Кто он такой, этот Калибан? Он — законный владелец необитаемого острова, на котором внезапно появился преданный собственным братом Просперо. Но, чтобы это понять, нам нужно приложить к тексту особую оптику, чувствительную к эксплицитно отсутствующему контексту, вписать шекспировскую пьесу в историю Великих географических открытий и колонизации. Только тогда мы сможем увидеть Калибана не просто как посмешище и чудовище, попытавшееся овладеть невинной девушкой, но и аборигена, колониального субъекта, которого мейнстримная культура превратила в монстра.

Вспомнился и еще один теоретический момент. Судя по всему, интерес ко всему вытесненному и маргинальному был характерен для той эпохи, о которой мы говорим, читая Беньямина. В этой же связи можно вспомнить о Бахтине с его одержимостью традицией менипповой сатиры, которую он по сути определяет как некую «вторую литературу», низовую линию, вытесненную на периферию

1. Scott J. *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press, 1990. 251 p.

культуры еще в античности, но никуда не исчезнувшую и сохраняющую энергию критики доминирующих догматов, нормативных вкусов, идеологических императивов благодаря альтернативному по отношению к официальной культуре горизонту «материально-телесного низа». Эта концепция не раз потом подвергалась критике, Бахтина упрекали в том, что он эту традицию искусственно конструирует с опорой на практически не сохранившиеся античные источники. Но это делает ее тем более интересной, тем отчетливее в ней обнажается имплицитная мессианская идея: дать голос какой-то иной — изначальной, но подавленной — народной культурной традиции, противостоящей официальному канону. От этой традиции осталось мало материальных следов, они проступают только благодаря особой аналитической чувствительности, сопоставимой с мессианской энергией спасения, пронизывающей подход Бенямина. Этот одновременно теоретический и исторический пафос — характерный симптом времени, Бенямин приходит к нему в 1930-х годах, Бахтин — в 1940-х (и с особенным подъемом в начале 1960-х — коротком периоде возвращения вытесненного и репрессированного). Почему такие разные теоретики, как Бенямин и Бахтин, были так увлечены этой задачей? Ее же пытался по-своему решать и Тынянов с его интересом к Кюхельбекеру и публикацией его рукописных текстов, оставшихся вне литературного процесса XIX века.

**Степан Попов:** Да, и соответственно, интерес Шкловского к Матвею Комарову...

**Илья Калинин:** Совершенно верно, интерес Шкловского к Матвею Комарову, Левшину и Чулкову, интерес лефововцев к рабкорам и селькорам...

**Степан Попов:** Мне еще интересно то, как по-разному они с этим работают. Мы можем реконструировать контекст, который существует вокруг маргинального текста, но какой именно контекст мы будем реконструировать? Контекст той репрессивной машины, которая сделала маргинальный текст маргинальным? Или тот контекст, который мы реконструируем в истории литературы для канонических текстов? Каким образом стоит эту операцию производить? Может быть, даже основываясь на тех примерах, которые мы обсуждали. Какой контекст нам нужно реконструировать, когда мы работаем с маргинальным текстом?

**Мелания Калинина:** Мне почему-то вспоминается Скиннер с его реконструкцией авторской интенции. Мне кажется, это очень сочетается с тем, о чем мы сегодня говорим: с тем, что у нас есть некоторые тексты, у которых утрачено представление о том, что за высказывание они собой представляют и как нам реагировать на это

высказывание. Мы как будто пытаемся реконструировать не только какой-то исторический контекст-срез, а именно иллокутивную силу этого высказывания. А нужно ли нам на самом деле это делать? И если да, то как? Это вопрос открытый, на мой взгляд. Нужно ли нам убирать историческую перспективу нашего взгляда, оставляя за текстом полную индивидуальность или нет?

**Андрей Костин:** Отличная реплика Мелании. Я бы хотел продолжить разговор о Беньямине и восстановлении контекста. Напомню, что Беньямин в этом тексте начинает с того, что нам сначала нужно вообразить будущее. Восстановление этого самого угнетенного — это способ связать его с будущим. Это абсолютно мистический образ. Почему здесь интересен маргинальный текст? Потому что воображение этого будущего приходит мистически, таинственно, в единственный момент и только здесь и сейчас. В полной мере вот это мистическое озарение виденья будущего, вообще говоря, невоспроизводимо. **Восстанавливая угнетенных, создавая полную линию от момента угнетения до будущего, мы пересоздаем всю историю. Я здесь скажу, что важен не столько сам контекст, сколько рассказ о другой альтернативной истории, в которой бы эта умершая традиция оказалась бы дорогой в будущее. Что за литература могла создаться там, где поэма про шахматы оказалась бы в центре поля?** Что это говорит нам о будущем, в котором мы должны скоро оказаться? Проложение кротовой норы от никогда не существовавшей литературы к современности, в которой мы увидели этого маргинала, и из современности в будущее, где что-то оказывается другим, — я читаю Беньямина так...

Это довольно хорошо соотносится с тем, как работает история литературы в конце 20-х — начале 30-х годов с большими проектами. Я специально занимался историей того, как выстраивают изучение XVIII века в конце 1920-х — начале 1930-х годов. И там есть этот проект: мы сейчас выкинем к чертям Ломоносова с Сумароковым, вытащим крестьянских и пролетарских авторов и напишем совершенно другую историю, которая будет вести, естественно, к той пролетарской литературе, которую мы сейчас создадим, к литературе будущего замечательного коммунистического общества. Ведь этой истории, которую мы сейчас рассказываем, абсолютно не нужны Ломоносов с Сумароковым. Они там оказываются маргинальными, они оказываются совершенно ненужными ключевому рассказу. То, что читается за попытками рассказывать о Комарове, и даже не столько о Комарове, как в более ранних работах Шкловского, — это то, с чем успешно борется Гуковский в 9–10 выпуске «Литературного наследства». Гуковский говорит: «Нет, у нас есть Ломоносов, Сумароков, никуда

вы от этого не уйдете. Мы знаем, как их читать, это великие авторы, их нельзя убрать в архив. Да, у нас есть крестьянские стихи, но всего этого большого поля вы выкинуть не можете». И всё, топчут ногами Святополк-Мирского в рецензии в «Лит. наследстве», а потом делают с ним буквальное уничтожение. Все, на этом все заканчивается. Здесь очень здорово то, что сказал Илья: вообще говоря, исследователей рубежа 1920–30-х годов мало занимает реальный контекст тех «низовых» текстов, которые они вытаскивают. Они знают, что есть схема, в которой у них должны появиться говорящие угнетенные, которые говорят вещи, которые они в них читают. Их очень мало занимает, что же это такое. Они видят этих угнетенных и конструируют их такими, какими они должны быть в идеальной теории. Это большая проблема, главная проблема — с тем, как работает история литературы XVIII века до сих пор с забытыми голосами, не видя вокруг контекста, а видя будущее, в котором они должны оказаться.

**Илья Калинин:** С одной стороны, я согласен с Андреем, с теми упреками, которые он адресуется адептам мессианского переписывания истории с точки зрения угнетенного...

**Андрей Костин:** Я не обвиняю, наоборот.

**Илья Калинин:** Да, хорошо. Но! Для меня при всех «перегибах на местах», зачастую приводящих к догматизму и тенденциозности, которые мы можем опознать за подобного рода интенциями написать новую «правильную», пролетарскую историю литературы, основанную на марксистской телеологии, во всем этом остается важный нередуцируемый остаток. Мне интересно не то, как впоследствии конструируется, пишется эта история с точки зрения условного Матвея Комарова, который пожимает руку рабкору 1920-х годов и таким образом, наконец, восстанавливает истинную историю литературы. Условно говоря, такую тенденцию можно обозначить как вульгарную реализацию того, что Беньямин понимает под мессианской задачей историка. Мне же интересна другая линия, возникающая в его тексте, — историко-материалистическая (разумеется, две эти линии переплетены между собой, но все же...). Чем должен быть занят беньяминовский исторический материалист? Он должен быть занят реконструкцией условий производства текстов, голосов, субъектностей, то есть в каком-то смысле тем, что могло бы быть названо — историко-социологической реконструкцией контекста, причем как в его материалистическом, производственном измерении, так и в перспективе отношений власти. И вот тут происходит определенный клэш, какая-то внутренняя схватка между марксизмом как социальной теорией и марксизмом как теорией революции, то есть в каком-то смысле — мессианской теории. Марксизм как социальная теория

действительно многое дает для анализа материальных условий производства, в том числе производства текстов. В этом смысле из книги Шкловского о Матвее Комарове можно извлечь много позитивного знания. При этом революционно-мессианская составляющая марксизма в целом (не только в идиосинкратическом беньяминовском марксизме, но и в марксизме классическом есть свои теологические импликации) создает силовое поле, притягивающее к себе взгляд из того будущего, в котором революционный мессия распахнет окно и войдет из трансценденции в наш мир. И тогда нам станет видно далеко во все стороны света, и тогда мы поймем, что нам не нужны Ломоносов с Сумароковым, а нужен Матвей Комаров. Именно этот, зачастую трагикомичный, энтузиазм, призывающий радикально переписать историю с точки зрения «трудящихся классов», я и называю теоретическими «перегибами на местах». Разумеется, их часто бросающаяся в глаза концептуальная несостоятельность позволяет критикам подобного рода моделей выдвигать уничтожительные аргументы в их адрес. Потому что в этих моделях действительно очень много взято от неудержимого желания, от ожидания того, чего прежде еще не бывало. Однако, характерный для такого рода попыток догматизм, а порой и невежество, не отменяет справедливость самой задачи — реконструкции / воскрешения / спасения той традиции угнетенных, о которой пишет Беньямин (точно так же, как практика «реального социализма» не подрывает самой социалистической идеи).

**Андрей Костин:** Отлично, Илья, большое спасибо! Тут я опять вернусь к вопросу, который задавал раньше. Значит ли вот это серьезное занятие маргинальным текстом, беньяминовское отношение к маргинальному тексту, переписывание? Все ли в конце концов спасутся? Возможно ли спасение для всех или только для избранной группы? Это очень важные вопросы. Все-таки вот эти львы, которые возлягут с агнцами, это будут специальные веганские львы или и те львы, которые едят агнцев? Можно ли вообще решить эту проблему или нет?

**Степан Попов:** Знаете эту задачку? Перевезите через реку волка, козу и капусту так, чтобы никто не пострадал.

Мне в Беньямине, в его проекте, кажется интересной не только мысль о спасении, но и о том, что в настоящее время написание этой истории слабых и угнетенных помогает бороться с разными формами угнетения и репрессий (Беньямин с фашизмом и так далее). И мне кажется, что именно эта перспектива политического сопротивления с помощью воскрешения угнетенных особенно важна. Мне эта перспектива очень нравится и, если понимать это положение очень широко, во многом я считаю, что этот семинар служит свою службу,



во всяком случае — борьбы против репрессирующих представлений в литературном каноне. Мы сами от них освобождаемся, а потом понесем куда-нибудь наши знания. Кто знает, к чему это приведет.

**Андрей Костин:** Но что меня в этом смущает: если мы создадим мир, в котором все будут читать подряд еврейские поэмы начала XIX века о шахматах, записки 15-летних дворянок о странных путешествиях из Москвы в Петербург и антиалкогольные брошюры конца XIX века, не угнетем ли мы таким образом людей, которые хотят читать замечательную историю странных любовей Евгения Онегина и Татьяны Лариной?

**Степан Попов:** Мне кажется, что это деятельность, которая не ведет к конечному результату, это такой постоянный разыгрываемый перформанс, который снимает с общества разные неприятные консервативные наслоения.

**Андрей Костин:** Вопрос в том, чего мы хотим?..

**Илья Калинин:** Я в этом смысле полностью разделяю пафос Степана. Мне кажется, что с канонem и так все будет в порядке. Просто потому, что общество в любом случае организовано иерархично. В социуме всегда есть центр и периферия. В этом смысле у канона есть свое, что называется, гарантированное конституцией «светлое будущее», потому что канон отражает социальную и ценностную иерархичность самого общества. По крайней мере, до построения коммунизма с канонem все будет в порядке *(сказано с шутливой интонацией)*.

А что нам в этом смысле дает практика чтения маргинальных текстов? Одновременно критическую и эмансипаторную позицию, которая выходит за пределы и филологического знания, и литературы. В этом смысле это некая революционная практика, связанная с рефлексией относительно разных форм господства и угнетения. И поскольку господство сохранится, «Евгений Онегин» как канонический текст останется вместе с ним, а также вместе с нами. Но, может стоит осуществлять еще что-то... Я бы не назвал это контркультурой в строгом смысле, хотя что-то есть в наших практиках чтения маргинальных текстов от той контркультуры, которая существовала в теоретической мысли и практиках 1960-х годов. В этой связи можно вспомнить «Группу информации по тюрьмам», которую Фуко, Видадь-Наке и другие французские интеллектуалы инициировали после поражения революции 68-го года. Чтение маргинальных текстов можно сравнить с деятельностью этой группы, если понимать тюрьму как метафору не только социального, но и символического угнетения, сквозь стены которого мы пытаемся услышать голоса заключенных.

**Мелания Калинина:** Я правильно понимаю, что мы не узакониваем чтение маргинальных текстов, чтобы не убить саму идею маргинальности? Получается, мы даем и каноническим текстам шансы на спасение в девятый час, потому что, если происходит чтение маргинальных текстов, то и канонические тексты обретают черты маргинальности. Они тоже спасаются таким образом от помещения на плакат по рекламе поправки в конституцию, как это было с Александром Сергеевичем Пушкиным.

**Степан Попов:** Это вопрос такой, условно говоря, культурной революции 20-х годов. Мы пришли и думаем, что сейчас мы действительно вернем угнетенным их субъектность, и они как-то сами выстроят собственную идентичность, исходя из своего социального опыта. А оказывается, что им, как писал критик Авербах, нужны рассуждения на вечные темы, им нужен красный Лев Толстой и так далее. И в этом нет, я думаю, ничего плохого. Я не думаю, что возможно субъективироваться, получить какую-то культурную идентичность, исходя из чтения одного этого набора текстов, который у нас есть. Представьте человека, который прошел школьную программу вот по этим текстам. Я бы не стал так экспериментировать. Десятиклассники читают вместо «Войны и мира» «Две силы» Солоневича и пишут сочинение о том, почему Советскому Союзу не нужно было давать атомную бомбу...

**Андрей Костин:** Чем хорош Беньямин — так это тем, что все-таки он задает вопрос до конца. У него не пропадает вопрос об этом самом светлом коммунистическом будущем, его принципиальной возможности или невозможности. Беньямин пытается представить мир, в котором, в конце концов, не будет этого угнетения. Ведь если все равно постоянно будут формы угнетения, то имеет ли смысл сама по себе борьба? Зачем она?

**Илья Калинин:** Конечно, мы имеем эту задачу именно в качестве вечно маячащего впереди горизонта, а не практической проблемы, которая может быть решена раз и навсегда. Понимаете, мы уже живем в этом мессианском времени спасения, потому что его окно, или хотя бы форточка, может открыться в любой момент. Мы всегда живем в ситуации, внутри которой предполагается наличие этой форточки, через которую к нам войдет мессия. В этом смысле, этот мир, это время уже настали, потому что мы исходим из горизонта их возможности. С другой стороны, это время «все время» откладывается и никогда окончательно не настает.

И чтобы как-то успокоить Меланию: на ее вопрос о том, не произойдет ли некое узаконивание, кодификация маргинальных текстов, можно ответить категорическим отрицанием. У нас нет для этого

никакой власти — нет и никогда не будет. Может быть, это даже хорошо. Для нас и для всех остальных.

**Андрей Костин:** Вопрос еще в том, спасутся или не спасутся. Это правда чудовищно важный вопрос. И с Пушкиным, и с прочими. Они попадут туда, потому что они приняли наш путь спасения? Они войдут туда на равных? Евгений Онегин с Солоневичем войдут на равных или один из них войдет как лев, а другой как агнец? Этот лев станет вегетарианцем в этом мире спасенных или нет? Одна из форм того, что мы здесь делаем, это то, что мы создаем университетские курсы, которые предполагают, что вообще не будет никаких обязательных к чтению текстов. Преподаватель будет с помощью алеаторных методов случайным образом подбирать набор для чтения в рамках своего курса. Я беру сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века и отбираю вам 10 текстов оттуда просто с помощью костей. Что там будет, то мы и пройдем в этом курсе.

**Степан Попов:** Я бы на самом деле представил, что мы можем написать риторику и вообще оставить общеуниверситетские курсы без текстов. Составим просто одну большую риторику, нарежем абсолютно все тексты, которые у нас существуют, представим их в виде примеров...

**Андрей Костин:** Отлично! Мы начинаем задаваться вопросом, что это за светлое будущее, в которое мы должны прийти. К тому, что говорила Светлана: дело не всегда в единственном тексте, дело в том, чтобы перестроить мир, сделать его иным, и для этого есть свои способы, технологии, механизмы борьбы и так далее. Потому что без этого маргинальный текст и останется маргинальным, а наша задача состоит в том, чтобы сделать что-то иное.

**Светлана Демидова:** В контексте предложения создать курс на основе алеаторной тематики мне вспоминается Барт с его несуществующими курсами, посвященными созданию разных историй чтения, и этимологии, и внутренних историй наук, и вообще наук, которых никогда не было. Такое синтетическое искусство — воплотить в университете бартовскую модель чтения.

**Степан Попов:** У кого есть еще какие-то футуристические проекты? Можем сказать о них еще два слова. Ярмарка футуристических проектов.

**Мелания Калинина:** Я как человек, который преподает в школе, уже замечаю за собой болезненное желание экспериментировать... Мне кажется, интуитивно, когда преподаешь в рамках школьной программы, когда у тебя есть тексты, которые там лежат, и ты более-менее понимаешь, как они туда попали, как о них предполагается, чтобы ты о них рассказывала, и при этом у тебя

есть что-то в твоей голове, что ты прочитала и что тебе нравится, и о чем хочешь рассказать другим, то все упирается опять в вопрос высказывания — иллюкативности интенции, то есть что я донесла своим ученикам в момент обсуждения абсолютно любого текста. Это, в общем-то, осталось где-то на поверхности. К вопросу о том, что говорил Андрей Александрович, мне кажется важным верить в то, что львы будут вегетарианцами, потому что в конечном итоге можно же любить и Пушкина, и Солоневича.

**Илья Калинин:** Мне кажется, точно не нужно понимать текст Бенъямина как призыв к тому, чтобы бывшие угнетенные заняли место угнетателей, когда Комаров придет на место Ломоносова. И дело даже не в том, что в «счастливой России будущего» будут добрососедствовать Комаров и Ломоносов, а в том, что спасение состоит в том, что и к Пушкину, и к Слепушкину<sup>2</sup> будет применен общий диалектический материалистический анализ. На данный момент можно говорить о следующем теоретическом status quo. Описание творчества Комарова с точки зрения поэтики, выработанной на материале господствующего канона его эпохи, мало что дает, кроме обоснования его художественной несостоятельности. Напротив, совсем иные, вполне релевантные результаты возникают при его социологическом описании с точки зрения исторического материализма. Но что стоит за этой предпосылкой? С точки зрения нормативной поэтики, Ломоносов и Пушкин — настоящая литература, а Комаров и Слепушкин — какой-то треш и мусор. Поэтому первые подлежат поэтологическому описанию, а вторые — социологическому. Но в этом методологическом различии, собственно, и состоит эпистемологическое угнетение. Но когда мы и к Пушкину, и к Слепушкину применим общий для них обоих способ описания, в этом и будет состоять отмена угнетения — та революция спасения, о которой говорит Бенъямин. Речь не идет о том, что это единственно возможный метод анализа: различие между Пушкиным и Слепушкиным останется, но разрыв между ними перестанет носить репрессивный характер (гений vs экспонат поэтической кунсткамеры).

**Андрей Костин:** Но не значит ли это, что не будет разницы между львом и агнцем? Мы не сможем их отличить одного от другого? Не будет аппарата для того, чтобы отличить льва от агнца?

**Илья Калинин:** Нет, сможем, потому что условия производства текста у Пушкина и Слепушкина радикальным образом отличаются, поэтому и тексты их радикальным образом отличаются. Здесь нет никакого нивелирования.

2. Слепушкин, Фёдор Никифорович (1787–1848) — крестьянский поэт-самоучка.

**Степан Попов:** Мне кажется, если продолжать рассуждение Ильи Александровича, нужно все-таки еще подумать над тем, что у нас есть лев и агнец, они отличаются, но возможно ли выстроить этот светлый мир без поражения в правах льва, если он останется львом?

**Андрей Костин:** Да, это важный вопрос. Мы явно на него не сможем ответить, и это самое замечательное.

**Мелания Калинина:** Тут что-то как раз про третьи и девятые часы, про меру ответственности. Все разные, все приходят в разные часы, но итог один. Это не убирает и не уничтожает разницу между пришедшими. Это какое-то имманентное свойство и мера ответственности каждого, кто пришел.

**Светлана Демидова:** Да, но с другой стороны, это ставит нас перед очередной попыткой создания новой теории эстетики. Потому что, если мы предполагаем, что лев все равно остается львом, но при этом у нас остается эта категория поэтики, то у нас снова возникает проект переформулирования наших эстетических категорий. Но это тоже что-то риторическое и неразрешимое.